

Г. Е. ПОТАПОВА

ОТ «ПРОТЕИЗМА»
К «ВСЕМИРНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ»

(Очерк из истории одной идеи)

В истории восприятия каждого поэта есть формулы, возвращающиеся все вновь и вновь. К их числу относится и привычное уподобление *Пушкин—Протей*, которое чаще всего воспринимается как что-то само собой разумеющееся. Однако это определение в разное время наполнялось разными смыслами и, более того, могло подаваться не только с положительным, но и с отрицательным знаком. Далее я попытаюсь поневоле схематично обрисовать историю этой формулы.

Уподобление Пушкина Протею становится общим местом в суждениях русских критиков уже начиная с середины 1820-х годов. В словоупотреблении той эпохи Протей — символ многоликости и многообразия. Это почти официальное прозвище Вольтера,¹ употреблявшееся, впрочем, и по отношению к Шекспиру, и по отношению к Гете.² На русской почве оно с успехом переносилось и на Карамзина.³ Эта характеристика довольно скоро начинала прилагаться и к Пушкину,⁴ что неудивительно, если учесть постоянную новизну тех ипостасей, в которых молодой поэт выступает перед своими читателями: «Руслан и Людмила» — и вслед за тем байронические «южные» поэмы; «роман в стихах» в духе «Дон-Жуана» — и слухи об уже готовой исторической трагедии «Борис Годунов», а кроме того — несравненная по широте жанрового диапазона лирика.

¹ См.: *Заборов П. Р.* Русская литература и Вольтер: XVIII—первая треть XIX века. Л., 1978. Пользуясь случаем, выражаю благодарность Немецкому Академическому Обмену, поддержавшему мой проект, в рамках которого шла работа над данной статьей.

² См., например: *Песков А. М.* К истории происхождения мифа о всеотзывчивости Пушкина // Новое литературное обозрение. 2000. № 42. С. 230—238.

³ См., например, эпиграмму П. А. Вяземского «Ты прав! Сожжем, сожжем его творенья!...» (*Вяземский П. А.* Стихотворения. Л., 1986. С. 116).

⁴ См., например: *Шаликов П. И.* «Евгений Онегин». Роман в стихах. Сочинение А. С. Пушкина // Дамский журнал. 1825. Ч. 9. № 6; также: Пушкин в прижизненной критике. СПб., 1996. С. 262; *Полевой Кс. А.* «Полтава», поэма Александра Пушкина // Московский телеграф. 1829. Ч. 27. № 10; также: *Полевой Н. А., Полевой Кс. А.* Литературная критика. Л., 1990. С. 374; [Без подписи]. «Полтава», поэма Александра Пушкина // Галатей. 1829. Ч. 3. № 16. С. 255.

Ощущение, что Пушкин в каждом новом своем произведении оказывается совершенно новым, было, пожалуй, доминирующим в критике первой половины 1820-х годов. Надо отдать должное критикам-нормативистам: они эту новизну приветствовали. В сущности, и «байронические» поэмы, и первая глава «романа в стихах», и слухи о «романтической трагедии» воспринимались ими как отрадное обогащение старой нормативной системы новыми жанрами, пусть несколько своевольными. Вероятно, в этом общем удовлетворении сказывался пафос быстро развивавшейся молодой литературы, стремившейся усвоить себе все достижения своих более опытных соседей.⁵ Многообразию пушкинского таланта воспринималось как очевидное достоинство. Собственно, здесь еще рано говорить об отношении критиков к «протеизму» поэта, потому что для них еще не возникает вопроса о том, стоит ли за постоянной сменой пушкинских ликов какое-то единое начало. Работает привычный механизм нормативистского мышления, совсем не предполагающего единства личности автора во всех его творениях. Надындивидуальное единство жанровой системы является здесь достаточным обоснованием нормальности пушкинских метаморфоз.

Наряду с жанровым многообразием, критики 1820-х годов настойчиво подчеркивают постоянную новизну материала, к которому обращается поэт, причем едва ли не в первую очередь это новизна этнографическая (национальная русская старина в «Руслане и Людмиле», потом Кавказ, Крым, Бессарабия...). Здесь сказалась остро сознававшаяся в ту эпоху необходимость художественного освоения еще неосвоенных просторов Российской империи. То, что было завоевано силой оружия, еще предстояло завоевать силой слова. И знакомство с малоизвестными читателю этнографически пестрыми окраинами России, которое совершалось благодаря поэмам Пушкина, удовлетворяло этой потребности и легко вписывалось в просветительскую программу, как, впрочем, и в программу раннеромантической русской эстетики.

Так, О. М. Сомов в своем известном трактате «О романтической поэзии», обосновывая возможность возникновения самобытной («романтической») поэзии в России, восклицает: «Сколько разных обликов, нравов и обычаев представляется испытующему взору в одном объеме России совокупной! (...) Что же, если мы окинем взором края России, обитаемые пылкими поляками и литовцами, (...) обитателями древней Колхиды, потомками переселенцев, видевших изгнание Овидия? (...) Сколько воспоминаний исторических и баснословных!». Вслед за тем Сомов отмечает, что черты самобытной русской поэзии, долженствующей объять все эти богатства, наиболее ощутимы именно в творчестве Пушкина: «Поэт обнял все пространство родного края и в своенравных играх своей

⁵ См.: *Потанова Г. Е.* «В буре споров, в вихре критик...» // Пушкин в прижизненной критике: 1820—1827. СПб., 1996. С. 5—10.

музы показывает его нам то с той, то с другой стороны: является нам на хладных берегах Балтийских — и вдруг потом раскидывает шатер под палящим небом Кавказа или резвится на цветущих долинах киевских». ⁶

Таким образом, протеизм Пушкина получает географическое, или, лучше сказать, имперское, обоснование. Это родство между имперской идеей и способностью к перевоплощению только естественно. Ведь, как отмечает П. Е. Бухаркин, «имперская идея (...) по своей сути несет возможность включать в себя другие культурно-исторические организмы, сохраняя их своеобразие и вместе с тем объединяя в одно имперское пространство». ⁷

Отклик этой мысли, сложившейся еще в русской критике 1820-х годов, мы найдем позже у Фарнгагена фон Энзе, который в 1838 году будет писать о немаловажном преимуществе русского поэта по сравнению с поэтом английским или немецким: «Но русский поэт находит многообразие пространственно удаленного и духовно различествующего в своей собственной национальной сфере — совершенно произвольно и в том образе, в каком сама природа ему это преподносит. Ему одинаково близко и знакомо все: Юг и Север, Европа и Азия, дикость и утонченность, минувшее и сегодняшнее, и, изображая самое разнородное, он всегда изображает свое, отечественное. Таким образом, здесь благотворно сказываются величие и сила государства, объемлющая форма империи и вмещаемое в нее содержание, и мы видим, в сколь тесной связи с государством живет поэзия (...)». ⁸ Несколькими десятилетиями позже в Пушкинской речи Достоевского мысль о способности Пушкина воспроизводить этнически чуждое разорвет пределы реальной империи и приобретет метафизический размах, превратившись во «всемирную отзывчивость». Но об этом чуть ниже. Потому что в 1820-е годы связь протеизма с имперской идеей осуществляется в сугубо материальном измерении: поэзия должна достойно отображать географический размах государства. Вопросы о том, что в душевном складе автора делает возможным адекватное воспроизведение этнически чуждого, пока не возникает. Надличностное единство империи еще служит достаточным основанием, для того чтобы приветствовать постоянную новизну пушкинских метаморфоз.

Ситуация меняется, когда в силу вступают требования романтической эстетики, желающей видеть за всеми творениями единый лик их автора. Понятно, что теперь изменчивость Пушкина действительно становится проблемой. Современники поэта разрешали

⁶ Сомов О. М. О романтической поэзии: Статья III // Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. М., 1974. Т. 2. С. 556—557.

⁷ Бухаркин П. Е. Православная церковь и русская литература в XVIII—XIX веках. Проблемы культурного диалога. СПб., 1996. С. 157.

⁸ Varnhagen von Ense K. A. Werke von Alexander Puschkin. Bd 1—3 // Zeitschrift für Kulturaustausch. 1987. Bd 37. Hf. 1 («All das Lob, das du verdient»: Eine deutsche Puschkin-Ehrung zur 150. Wiederkehr seines Todestages). S. 20.

ее двояким образом. Одни критики вообще отрицали наличие у Пушкина авторского лица. Основанием для обвинений становилось в таком случае именно прихотливое «своенравие» его музы, не поддающееся учету разнообразия предметов его поэзии, но истолковывалось это качество уже со знаком «минус», а не со знаком «плюс». Пример тому — антипушкинские статьи Н. И. Надеждина конца 1820-х годов.

«Романтическая» всеобъемлемость таланта Пушкина воспринимается Надеждиным как легкомысленное, фамильярное и даже кошунственное скольжение по поверхности всех явлений — больших и малых, хороших и дурных. Муза Пушкина «есть, по моему мнению, резвая шалунья, для которой весь мир ни в копейку. Ее стихия — пересмеять все — худое и хорошее... не из злости или презрения, а просто — из охоты позубоскалить».⁹ Предвосхищается представление об универсальной отзывчивости Пушкина, но предвосхищается в эпатирующей и отнюдь не панегирической форме.

Надеждина изумляет в Пушкине способность с равной легкостью запечатлевать любые предметы — даже самые ничтожные. В этом смысле Надеждин считает самым характерным пушкинским произведением «Графа Нулина». Критик утверждает, что именно в этой поэме Пушкина, «как в микрокосме, отпечатлевается тип всего поэтического мира, им сотворенного! {...} Это — да простит нам тень великого Паскаля! — это есть *кружочек*, коего *окружность везде, и центр нигде!*.. Если имя поэта (ποιητης) должно оставаться всегда верным своей этимологии, по которой означало оно у древних греков *творение из ничего*, то певец Нулина есть *rag excellence* поэт. Он сотворил чисто из *ничего* сию поэму».¹⁰ Взывая к «тени великого Паскаля», Надеждин имеет в виду слова из второй главы «Мыслей», где речь идет об огромности вселенной. Однако у этой формулы была своя долгая предыстория. В качестве комментария позволю себе сослаться на эссе Х. Л. Борхеса «Сфера Паскаля». Итак, в одной из книг «*Coprus hermeticum*» была обнаружена в конце XII в. «формула, которая не будет забыта последующими веками: „Бог есть умопостигаемая сфера, центр коей находится везде, а окружность нигде”».¹¹ «Паскаль мог найти эту сферу у Рабле (III, 13) или в символическом „Романе о Розе”, где она представлена как платоновская. Все это неважно; существенно то, что метафорой, которой Паскаль описывает пространство, его предшественники {...} обозначали Бога».¹²

⁹ Надеждин Н. И. «Полтава», поэма Александра Пушкина // А. С. Пушкин : про et contra: Антология. СПб., 2000. Т. 1. С. 58.

¹⁰ Надеждин Н. И. Две повести в стихах: «Бал» и «Граф Нулин» // Там же. С. 49.

¹¹ Борхес Х. Л. Д. Сфера Паскаля // Борхес Х. Л. Д. Коллекция: Рассказы; Эссе; Стихотворения. СПб., 1992. С. 339.

¹² Борхес Х. Л. Д. Письмена Бога. М., 1992. С. 47—48.

Как это ни удивительно, получается, что Надеждин первым употребил применительно к Пушкину сравнение с Богом, хотя и применил с отрицательным знаком, и поменял местами составляющие традиционной формулы: сфера превратилась под его пером в кружочек на плоскости (т. е. ноль), центр ее оказался нигде, а окружность — везде. Так или иначе, сравнение с Богом применительно к Пушкину заявлено. Но всерьез будет оно осмыслено в русской критике гораздо позже, лишь на рубеже XIX—XX вв.¹³ Пока для Надеждина бесконечная смена метаморфоз, тождество «все» и «ничто» оказывается самой что ни на есть уничижительной характеристикой Пушкина.

Другие критики пытались осмыслить постоянную новизну пушкинских произведений как знак единого эволюционного процесса. Такой подход декларировал еще Вяземский в рецензии на «Цыган» (1827). Но программное выражение эта тенденция нашла в статье С. П. Шевырева «Обозрение русской словесности за 1827-й год»¹⁴ и в особенности в статье И. В. Киреевского «Нечто о характере поэзии Пушкина» (1828). Творческий путь поэта был осмыслен там как закономерная эволюция в сторону этапа самобытности и народности. Приветствовалось обращение Пушкина к русской национальной жизни, к русской старине. Обращение к этнически чуждому материалу по естественным причинам вытеснялось на второй план.

Однако начиная с рубежа 1830-х годов в русской критике растет сопротивление этой концепции. И едва ли не решающую роль здесь играет пресловутый «протеизм» зрелого Пушкина. Дело в том, что обращение Пушкина к чужим народам, к чужим эпохам и к чужим литературным формам поначалу плохо вяжется с концепцией его эволюции в сторону самобытной, национальной поэзии. Это относится и к «Анджело», и к «Песням западных славян», и к итальянским октавам «Домика в Коломне», и к «маленьким трагедиям», и к архаичным для литературы 1830-х годов сюжетным схемам «Повестей Белкина». Даже сказки — это, в глазах критиков, «подделка под старину», «старинная пыль, из которой, с особенным попечением, выведены искусные узоры».¹⁵ Вообще, за Пушкиным в 1830-е годы прочно утверждается репутация реаниматора разного литературного старья — будь то старье отечественное или инонациональное.

¹³ Ср., например, замечание Ю. И. Айхенвальда в «Силуэтах русских писателей»: «Эхо души и деяний, внутренних и внешних событий, прошлого и настоящего, Пушкин в своей отзывчивости как бы теряет собственное лицо. Но божество тоже не имеет лица. Определенные черты, физиономия присущи только тому, что ограничено, — их не знает мироздание как целое. И Пушкин, растворяясь в звуках, воспроизводящих все, отвечающих всему, именно в этом и находит самого себя, свой великий микрокосм» (А. С. Пушкин : pro et contra. Т. 1. С. 376).

¹⁴ Московский вестник. 1828. № 1.

¹⁵ Надеждин Н. И. Летописи отечественной литературы // Телескоп. 1832. № 9. С. 114—115. Ср.: Потапова Г. Е. «В буре споров, в вихре критик...». С. 10—16.

Неувязку «протеизма» и «национальности» нужно было каким-то образом снять. Здесь были возможны разные пути. Один из них был найден Белинским. Для него и способность Пушкина воспроизводить дух чужих народов, и «национальность» его поэзии в равной степени были производными от основного свойства пушкинского таланта — от «художнического такта действительности», или, проще говоря, от художественной объективности: «Он в высшей степени обладал этим тактом действительности, который составляет одну из главных сторон художника. Прочтите его чудную драматическую поэму „Русалка“: она вся насковзь проникнута истинностью русской жизни; прочтите его тоже чудную драматическую поэму „Каменный гость“: она, и по природе страны, и по нравам своих героев, так и дышит воздухом Испании; прочтите его „Египетские ночи“: вы будете перенесены в самое сердце жизни издыхающего древнего мира... Таких примеров удивительной способности Пушкина быть как у себя дома во многих и самых противоположных сферах жизни мы могли бы привести много, но довольно и этих трех. И что же это доказывает, если не его художническую многосторонность?».¹⁶

Иным путем пошла критика «славянофильского» лагеря, для которой проблема Пушкина как *национального* поэта была перво-степенной. Здесь сразу же нужно подчеркнуть следующее. Слова «славянофильский лагерь» я в данном случае употребляю в расширительном смысле, подразумевая не только собственно славянофилов, но и в разных аспектах близкие им течения русской общественной и философской мысли. Отношение к Пушкину и к его протеизму будет соответственно иметь разные варианты даже внутри этого «лагеря».

Так, «почвенник» А. А. Григорьев в статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859) упрекает ранних славянофилов в том, что они не понимали Пушкина и предпочитали отбрасывать и затушевывать те его произведения, которые казались им недостаточно «национальными». Совсем напротив, утверждает Григорьев, «наша народная личность» нашла адекватное выражение именно в целостности пушкинского творчества, в ошеломляющей многоликости поэта (от Ивана Петровича Белкина — до Сильвио, Алеко и Дон Гуана).

Однако в представлении Григорьева эта многоликость имеет свое средоточие и свой предел. И об этом необходимо помнить, повторяя его знаменитую формулу «Пушкин — это наше все», в известном смысле родственную формуле «Пушкин—Протей». Слова Григорьева обычно понимают как констатацию пушкинского универсализма. Однако сам критик очевидным и откровенным образом поставил этому универсализму вполне определенные ограничения.

¹⁶ См.: *Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1981. Т. 6. С. 277.*

Смысловое ударение в формуле «наше все» для Григорьева едва ли не в большей степени падало на слово «наше», чем на слово «все». «Пушкин, — продолжает он, — представитель всего нашего *душевного, особенного*, такого, что остается нашим *душевным, особенным* после всех столкновений с чужим, с другими мирами. (...) Сфера душевных сочувствий Пушкина не исключает ничего до него бывшего и ничего, что после него было и будет правильного и органически-нашего». ¹⁷ Для Григорьева Пушкин — это «натура, на все отозвавшаяся, но отозвавшаяся в меру русской души». ¹⁸ В сущности, получается, что григорьевское понимание «отзывчивости», присущей Пушкину, прямо противоположно мысли Достоевского. Если Достоевский, говоря о «всемирной отзывчивости», поставит акцент на «центробежном» начале, то для Григорьева акцент стоит, напротив, на начале «центростремительном». В соответствии с этим он совершенно не склонен трактовать обращения Пушкина к инациональным сюжетам и образам как свидетельство способности к перевоплощению. Никакого перевоплощения не происходит. Так, по мнению Григорьева, Чайльд-Гарольд делается у Пушкина из англичанина совершенно русским типом Онегина, а французский или испанский Дон-Жуан не имеет ровно ничего общего с Дон Гуаном Пушкина. Т. е. хотя для Григорьева Пушкин является национальным поэтом именно благодаря своей многоликости, но многоликость эта ограничена рамками многообразных элементов *русской* жизни и не имеет ничего общего с протезизмом как способностью перевоплощаться в этнически чуждое.

Иначе трактовалась проблема пушкинского протезизма теми критиками, которые в той или иной мере были причастны к так называемой теории официальной народности. Если славянофилы и Григорьев отнюдь не были апологетами современного им имперски-бюрократического устройства, то публицисты лагеря «официальной народности» безоговорочно принимали эти формы и стремились к тому, чтобы, во-первых, идейно легитимизировать существование России как многонационального государства, а во-вторых, — дать теоретическое обоснование желанию русского правительства «догнать» страны Запада и затем превзойти их. Естественно, что в рамках этой концепции представление о способности русского человека перенимать и усваивать национально чуждое становится чрезвычайно популярной мифологемой. ¹⁹ А значит, оказывается возможным и безболезненное примирение пушкинского протезизма с национальным содержанием его творчества. Это гениальное в своем роде решение заключается в том, что сам протезизм объявляется существенной *национальной* чертой, функцией от

¹⁷ Григорьев А. А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Статья первая // Григорьев А. А. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 57.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Ср.: Вайскопф М. Я. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. М., 1993. С. 176—179, 395.

некой доминанты, определяющей сам душевный склад русского человека.

Первым высказал эту мысль С. П. Шевырев в 1841 году, в своей известной рецензии на посмертное издание сочинений Пушкина: «Чудное сочувствие Пушкин имел со всеми гениями поэзии всемирной — и так легко было ему усвоивать себе и претворять в чистое бытие русское их изящные свойства! Это в Пушкине черта национальная: как же было ему не отражать в себе характера своего народа?».²⁰ Немного позже он развернуто изложил свое понимание национального характера русских в другой статье, помещенной в «Москвитянине» в 1846 году, а именно в рецензии на «Петербургский сборник», изданный Н. А. Некрасовым. Знакомство Достоевского с этой статьей представляется чрезвычайно вероятным — уже потому, что там же содержится положительный отзыв Шевырева о «Бедных людях», напечатанных в «Петербургском сборнике». Достоевский с беспокойным вниманием относился к отзывам критики о своей повести, что явствует, например, из его письма к брату, М. М. Достоевскому, от 1 февраля 1846 года (28, 117—118). Едва ли от его внимания мог ускользнуть отзыв «Москвитянина», одного из ведущих литературно-критических журналов того времени.

В указанной статье Шевырев писал, например: «...Мы нация всемирная, народ всенародный, язык многоязычный. Наша народность не обидна ничьей — и уживается со всеми (...)».²¹ Говоря о том, как проявилась эта особенность национального характера в области литературной, Шевырев тут же приволил имя Пушкина, который, по его словам, был поэтом не только народным, но и всемирным. В подтверждение критик ссылался на «Моцарта и Сальери», «Каменного гостя», «Египетские ночи».²²

Вслед за Шевыревым о пушкинском «протеизме» как о свойстве глубоко национальном упомянул Гоголь в статье 1846 года. «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»: «Это свойство *чуткости*, которое в такой высокой степени обнаружилось в Пушкине, есть наше народное свойство».²³ Однако Гоголь, во-первых, понимал всеотзывчивость Пушкина несколько иначе — шире, чем отзывчивость гениям других народов. Во-вторых, он не абсолютизировал мысль о «чуткости» Пушкина как о черте национальной. Другие русские поэты (Державин, Крылов, Языков) воплощали в своем творчестве, по мысли Гоголя, не менее важные национальные черты.

Итак, можно предположить, что влияние Шевырева на Пушкинскую речь Достоевского оказалось не менее значительным, чем

²⁰ Москвитянин. 1841. № 9. С. 247.

²¹ Там же. 1846. № 3. С. 180.

²² Там же. С. 181.

²³ Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1986. Т. 6. С. 357.

вливание Гоголя. Не исключено прямое влияние Шевырева на рассуждения Достоевского о «всемирной отзывчивости». Однако чрезвычайно любопытно то, что у этой идеи Шевырева (помимо теории «официальной народности») была еще и другая предыстория, довольно неожиданная.

Еще в середине 1830-х годов (до «Москвитянина», до славянофильства и «официальной народности») Шевырев обращался к сходной проблематике на страницах своей книги «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов». Именно в этой книге отчетливо формулируется концепция поэтического универсализма как выражения субстанциальной черты той нации, к которой принадлежит писатель, — но формулируется, так сказать, не на русской, а на немецкой почве. «Всемирный эклектизм есть главный характер литературы германской и ее критики. (...) Все народы Европы, древние и новые, вложили свою стихию в литературно-художественное образование Германии, которое явилось под конец универсальным, всеобъемлющим, и слитием разнородных стихий обозначило свой собственный характер».²⁴ Исходя из этой концепции, Шевырев освещает творчество Винкельмана, Лессинга и в особенности Гердера и Гете: «Гердер, наконец, представляет уже высшую степень универсального эклектизма в поэзии, но являющегося в сознании философа и в чувстве человека, а не в силе творческой, ибо последняя, крайняя ступень его представлена была Гете. Гердер был более, нежели германец: ибо в нем германец возвел свою национальность на высшую степень человечества, с которой он мог сочувствовать всем народам, жившим и живущим, и отовсюду собирать все человеческое. К чести Германии должно сказать, что только в этой стране многосторонней, беспристрастной, мыслию своею обращенной ко всем народам, могло воспитаться это всемирное, всечеловеческое, всеобъемлющее чувство...».²⁵

При этом Шевырев, формулируя свое понимание «универсального эклектизма» как основной черты немецкого характера, по большей части заимствовал свои формулировки из обширной немецкой традиции, в то время хорошо известной в России. Приведу фрагмент, явственно перекликающийся со словами Достоевского о «всемирной отзывчивости» и извлеченный из одной переводной статьи о Гердере, которая была помещена в 1828 году в «Московском телеграфе». Статья принадлежит знаменитому некогда немецкому критику и публицисту В. Менцелю — тому самому «Менцелю, критику Гете», против которого в России ополчился Белинский, а в Германии (по другим, политическим, причинам) Г. Гейне и публицисты «Молодой Германии». Вообще же, Менцель в качест-

²⁴ Шевырев С. П. Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов. М., 1836. С. 235.

²⁵ Там же. С. 269.

ве литературного критика пользовался в 1820—1830-е годы чрезвычайно большим авторитетом и у себя на родине, и в других странах. Итак, Менцель писал: «В народном характере германцев есть какая-то теплота, производящая все добродетели, которые отличают нас от других народов, и все недостатки, которые вправе нам приписывать другие народы. (...) Она дает нам свои крылья, чтобы легким полетом пчелы облетать все цветы поднебесные. Если мы, следуя влечению этого чувства, кажется, слишком забываем себя и свое отечество, то, в самом деле, нет сего равнодушия, ибо отличительная черта нравов наших заключается именно в любви всеобщей, и наша отчизна только там, где живет любовь наша. Мы более имеем в виду цель человечества, нежели собственное свое благо, и собственное благо дорого нам по мере того, как оно относится к цели человечества. Других народов разделяют между собою ненависть и тщеславие: нас со всеми соединяет любовь. Другие ищут несходного, отделяющего: мы ищем равного, связующего, и это преимущественно свойственно человеку».²⁶ Напомню для сравнения слова Достоевского: «Мы не враждебно, а дружественно, с полною любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий (...) и тем уже выказали готовность и склонность нашу ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. (...) Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей» (26, 147).

Впоследствии позиция Менцеля изменилась, его «тевтономания» (ощутимая, впрочем, и в приведенном отрывке) приобрела более консервативный оттенок. К 1830-м годам он стал искать в немецком характере именно «несходного» и «отделяющего», а не «связующего» с другими народами. Не случайно в книге «Немецкая словесность» (1828; второе, переработанное издание — 1836) в главе о Гердере он снял процитированный фрагмент, а говоря о Гете, с небывалой резкостью ополчился на его мировоззренческий «космополитизм» и художественный «эклектизм».

Следует заметить, что в Германии гетевский универсализм, вообще говоря, недолго воспринимался как безусловно положительное начало: вскоре возникли большие сомнения относительно его национальной ценности. Если «позитивный» вариант универсализма мог корреспондировать с мужественной активностью немецкого

²⁶ Московский телеграф. 1828. № 6. С. 137—140. Текст немецкого оригинала см.: Europäische Blätter oder das Interessanteste aus Literatur und Leben für die gebildete Lesewelt. 1825. Bd 3. S. 35ff.

духа, то в «негативном» своем варианте универсализм представлялся свойством «женственным» и «антинациональным». В первую очередь здесь следует упомянуть принадлежащее тому же Менцелю сравнение таланта Гете с «гетерой». Менцель объявляет, что Гете не гений (который непременно должен обладать внутренним средоточием), а талант, что доказывается именно его способностью принимать любые образы, сживаться с любой стихией, любой эпохой: «Талант есть гетера и предается каждому. (...) Не имея внутренней опоры, внутреннего мотива для своего проявления, он предан во власть каждого внешнего впечатления и увлекается от одного к другому. Так мы видим талант Гете, подобно хамелеону, изменяющим свой цвет. Сегодня скрашивает он одно, завтра другое. (...) Он, как пробка, плыл всегда по течению и на поверхности потока».²⁷ Женственность предстает в ряду других дискредитирующих сравнений («хамелеон», «пробка»), причем выступает в своей «порочной» ипостаси («гетера»). Недостаток мужественности, наличие женских слабостей — один из самых типичных упреков в адрес Гете, начиная по крайней мере с пастора Пусткухена.²⁸ Истинно немецкий герой, конечно же, должен быть мужественным.

Шевырев в своей «Теории поэзии...» полемизировал с Менцелем, защищая Гете от нападок его строгого критика. И, хотя Шевырев ориентировался на ту характеристику разнообразных «влияний», которая была дана в книге Менцеля, он, по справедливому замечанию В. М. Жирмунского, перетолковал «эkleктизм» немецкого поэта в положительном смысле — как художественный универсализм.²⁹ «Поэты всего мира, всех веков и стран участвовали через Германию в воспитании Гете — и потому галерея его произведений, вмещающих славу и гордость его отечества, представляет Пантеон всемирной поэзии...».³⁰ Упомянув о нападках Менцеля, возмущавшегося общественным индифферентизмом Гете, Шевырев пишет, что Менцель «увлекается в этом случае влиянием западных французских мнений и не умеет постигнуть назначения своего отечества: действовать в идеальном мире науки и искусства, во благо всех народов и человеков».³¹ Однако здесь Шевырев был не совсем бескорыстен, потому что его защита Гете была подготовительным шагом к тому, чтобы перенести концепцию поэта-Протея как поэта национального на русскую почву. Впрочем, это было вполне логично. Поэтический протейизм Гете, неприемлемый с

²⁷ Менцель В. Шиллер и Гете / Пер. с нем. В. Дмитриев // Сын отечества и Северный архив. 1831. № 11. С. 217—218; ср.: *Menzel W. Die deutsche Literatur. Stuttgart, 1828. Bd 2. S. 214—215.*

²⁸ *Mandelkow K. R. Goethe in Deutschland : Rezeptionsgeschichte eines Klassikers. Bd 1: (1773—1918). München, 1980. S. 103.*

²⁹ См.: *Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. Л., 1982. С. 225.*

³⁰ *Шевырев С. П. Теория поэзии... С. 288.*

³¹ Там же. С. 291.

точки зрения немецкого романтического национализма,³² вполне мог прийти ко двору в России, как в стране имперской, что и произошло.³³

Через десять лет, в уже упомянутой рецензии на «Петербургский сборник», Шевырев сместит идеологические акценты таким образом, что «универсальный эклектизм» немцев предстанет в его изложении как духовный «паразитизм», а истинным носителем «всемирности» окажется русский народ, достигший высшего выражения в своем национальном поэте — Пушкине.

В 1880 году Достоевский, вероятно знакомый с суждениями Шевырева о Пушкине, но едва ли подозревавший о предыстории этих суждений, подхватит идею «чудного сочувствия» Пушкина с гениями других народов, связав эту «всемирную отзывчивость» с христианской идеей, по его мнению, органически присущей русскому народу: «Укажите хоть на одного из великих гениев, который бы обладал такую способность всемирной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный поэт. (...) Пушкин лишь один из всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность. (...) Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему и пророческое (...). Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? (...) Стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия (...) а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону» (26, 147—148).

В свете всего сказанного выше не покажется неожиданным суждение, высказанное по поводу процитированных строк Достоевского Т. Манном в статье «Слово о Шиллере» (1955). Говоря о «сублимированном национализме» Шиллера, он писал о разительном, на его взгляд, сходстве идей немецкого поэта с идеями, высказанными в Пушкинской речи: «...Всецеловеческое предстательство выше ограниченного формальными рамками национального сознания, и вся сложность заключается в том, чтобы возвестить своему народу именно это его предназначение; сказать ему, что он призван вселенским духом выиграть великую тяжбу эпохи, что его день в истории явится жатвой всего посеянного от века (...). Все это и еще многое другое сказано в отрывке „Немецкое величие“, — стихотворении, которое осталось незавершенным и которое сильно напоминает

³² См.: Mandelkow K. R. Der proteische Dichter: Ein Leitmotiv in der Geschichte der Deutung und Wirkung Goethes // Mandelkow K. R. Orpheus und Maschine : Acht literaturgeschichtliche Arbeiten. Heidelberg, 1976. S. 30—31.

³³ Ср.: Вайскопф М. Я. Сюжет Гоголя. С. 176—179.

речь Достоевского о Пушкине (...) где русскому народу — почти в тех же выражениях, а то и дословно — отводится такая же миссия. И я почти уверен, что идея о призвании русской нации к всечеловеческому предстательству — та идея, которая помогла ему, в его речи о Пушкине, подняться выше спора между славянофильством и западничеством, — тоже своего рода „заимствование“, что она немецкого происхождения и принадлежит Шиллеру». ³⁴

На первый взгляд может показаться, что отмеченное Т. Манном сходство носит чисто типологический, а не генетический характер. Действительно, было бы странно, если бы Достоевский, помня о том, что писал немецкий поэт о предназначении немецкого народа, просто перенес эти идеи на русскую почву, объявив «всемирную отзывчивость» исключительно русским свойством. Однако отчасти прослеженная нами предыстория идеи «всемирной отзывчивости» как черты национальной убеждает в том, что Т. Манн был прав: немецкие источники сыграли действительно большую роль в возникновении идеи Достоевского, хотя сам Достоевский едва ли отдавал себе в этом отчет.

Нельзя не отметить, что есть какая-то ирония судьбы, какой-то ее подвох в том, что свойство, которое Достоевский считал исключительной принадлежностью русских, задолго до него было осмыслено как свойство преимущественно немецкое. ³⁵ Не сказала ли в этом неизбежная ограниченность любого мессианства — постоянно грозящая ему опасность оказаться отнюдь не уникальным именем там, где он себя таковым мнит?.. И все же, провозглашая «всемирную отзывчивость» высшей и характернейшей чертой своего народа, Достоевский выступил невольным защитником той традиции, которая возникла в эпоху классического немецкого гуманизма и которая по сути своей была противна любой узко понятой национальной идее. Поэтому из-за Пушкинской речи на него обрушились не только западники, но и славянофилы. Подобно тому как «тевтономан» Менцель в своей уже упоминавшейся книге провозглашал «эклетицизм» Гете чертой антинациональной (и тем самым отвергал представление об универсальной переимчивости как о позитивной национальной черте), К. Н. Леонтьев вменял в вину Достоевскому его апофеоз «всемирной отзывчивости». ³⁶

Позже, особенно в XX в., идея «всемирной отзывчивости» суждено было претерпеть разные метаморфозы, коснуться которых в настоящей статье можно лишь мимоходом. С одной стороны, мысль Достоевского послужила основой для разного рода спекуляций в

³⁴ Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. М., 1961. Т. 10. С. 593—594.

³⁵ Ср.: Михайлов А. В. 1) Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры. М., 1989. С. 64—74; 2) Об универсализме в русской и немецкой культурах // Славяно-германские исследования. М., 2000. Т. 1—2. С. 394—406.

³⁶ См.: Леонтьев К. Н. Наши новые христиане. М., 1882. Ср.: Буданова Н. Ф. Достоевский и Константин Леонтьев // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1991. Т. 9. С. 199—222.

духе национального мессианизма. Не случайно представление о «всемирной отзывчивости» как о национальной черте русских было поднято на щит некоторыми русскими публицистами 1914 года для освящения миссии России в разгорающейся мировой войне. Так, в книге Н. А. Бердяева «Судьба России», изданной в 1918 году, но составленной из более ранних статей, отчетливо формулируется противопоставление двух разных вариантов универсализма — немецкого и русского. В то время как «немецкий» вариант характеризуется как мужественно-агрессивный, «русский» универсализм сопровождается позитивными ценностными коннотациями («женственно-смиранный», «христиански-всечеловеческий»). Бердяев критикует «фаустовский» идеал немецкой культуры: «Фауст перешел от идеальных исканий, от магии, метафизики и поэзии к реальному земному делу. „Im Anfang war die That!“. В начале был волевой акт, акт немца, вызвавший к бытию весь мир из глубины своего духа. Все рождается из тьмы, из хаоса бесформенных переживаний через акт воли, через акт мысли. И немец ничего не склонен переживать до совершенного им That'a. В нем нет никакого пассивно-женственного прития мира, других людей других народов, нет никаких братских и эротических чувств к космической иерархии живых существ. Все должно пройти через немецкую активность и организацию. Германец по природе своей не эротичен и не склонен к брачному соединению».³⁷ Помимо прямой отсылки к Гете, в этом пассаже важно то, что для Бердяева, несмотря на все его неприятие «вечно-бабьего» начала в русской душе (превозносившегося в военной публицистике его оппонента В. В. Розанова), «вечно-женственное» по-прежнему наделяется положительными коннотациями («пассивно-женственное притие мира...»). Этого начала, по мысли Бердяева, фатально недостает немецкой душе. Далее в той же книге Бердяев характеризует способность к эротически-женственному притию мира как атрибут русской души, призванной к всемирно-исторической миссии: «Мы, русские, менее всего можем вынести господство притязаний религии германизма. Мы должны противопоставить ей свой дух, свою религию, свои чаяния. Это не мешает нам ценить великие явления германского духа, питаться ими, как и всем великим в мире. Но гордыне германской воли должна быть противопоставлена наша религиозная воля. Центральной германской Европе не может принадлежать мировое господство, ее идея — не мировая идея. В русском духе заключен больший христианский универсализм, большее признание всех и всего в мире».³⁸

Характерно и то, что позднее «всемирная отзывчивость» Пушкина легко превращается в «социалистический интернационализм» и становится залогом великой миссии русского народа в мировой

³⁷ Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1918. С. 169.

³⁸ Там же. С. 174.

революции. Насколько мне известно, первый шаг в этом направлении сделал Андрей Белый в лекции, прочитанной перед молодой советской аудиторией в 1925 году.³⁹ Сегодня все возвращается к кругу своя, и идея «всемирной отзывчивости» опять соединяется с «русской идеей» в построениях некоторых современных пушкинистов.⁴⁰

С другой стороны, идея Достоевского нередко вызывала резкое неприятие. Так, уже Тургенев заметил по поводу «всемирной отзывчивости»: «...лучше быть оригинальным русским человеком, чем этим безличным всечеловеком».⁴¹ В данном случае притязания Достоевского на «всечеловечность» русского духа критиковались с позиций либерального западничества. Тургенев был убежден в праве русских быть таким же культурно самостоятельным народом, как другие европейские народы, не более того (но и не менее). Впрочем, гораздо чаще идея «всемирной отзывчивости» подвергалась ревизии с других позиций — с позиций националистического изоляционизма. Заявленная Достоевским мысль об открытости Пушкина по отношению к другим культурам отвергалась в таком случае из страха потерять свою национальную идентичность, поддавшись влиянию национально чуждого (здесь стоит упомянуть имена К. Леонтьева и И. Ильина⁴²).

Итак, отношение к пушкинской «всемирной отзывчивости» колеблется в XX в. между двумя равно опасными полюсами — национальным мессианизмом и национальным изоляционизмом. Возможен ли выход из этого порочного круга? Как на попытку такого выхода хотелось бы указать на то осмысление пушкинской «всемирной отзывчивости», которое было предложено известным философом и историком искусства В. В. Вейдле.

В статье «Пушкин и Европа», опубликованной в 1937 году в парижском журнале «Современные записки», Вейдле, с одной стороны, утверждает, что мысль о «всемирной отзывчивости» пушкинского гения — это лучшее, что сказано о Пушкине Достоевским. С другой стороны, Вейдле считает нужным уточнить объем и содержание этого понятия. Аналитический обзор того, что именно усваивал Пушкин в разные годы из других литератур, приводит

³⁹ Белый А. Пушкин : План лекции // Cultural Mythologies of Russian Modernism : From the Golden Age to the Silver Age. Berkeley; Los Angeles; Oxford, 1992. P. 471—472.

⁴⁰ См., например: *Непомнящий В. С.* Феномен Пушкина и исторический жребий России: К проблеме целостной концепции русской культуры // А. С. Пушкин : pro et contra. Т. 2. С. 510—559.

⁴¹ *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Л., 1967. Т. 12, кн. 2. С. 272. Ср.: *Буданова Н. Ф.* Достоевский и Тургенев: Творческий диалог. Л., 1987. С. 168—194.

⁴² См.: *Леонтьев К. Н.* О всемирной любви : Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике // Властитель дум : Ф. М. Достоевский в русской критике конца XIX—начала XX века. СПб., 1997. С. 68—102; *Ильин И. А.* Пророческое призвание Пушкина // А. С. Пушкин : pro et contra. Т. 2. С. 182—209.

Вейдле к выводу, что «отзывчивость» Пушкина отнюдь не была универсальной, — сам поэт поставил этой «отзывчивости» строго определенные пределы. Применительно к Пушкину лучше говорить, по мнению Вейдле, не о его *универсализме*, а о его *европеизме*. Здесь Вейдле предпринимает любопытное сопоставление Пушкина и Гете: «...отношение обоих поэтов (к вопросам мировой литературы. — Г. П.) на протяжении их жизни изменялось в противоположном направлении. Гете к старости все более расширял свой кругозор в сторону Индии, Персии, Китая; Пушкин, напротив, приближаясь к зрелым годам, постепенно суживал его, ограничивал пределами Европы. (...) После 1824 года не написано ничего, что могло бы сравниться с „Подражаниями Корану“». ⁴³ В поисках объяснения этому обстоятельству Вейдле приходит к выводу, что дело заключалось в осознании Пушкиным своей «культуртрегерской» миссии по отношению к России: Пушкин слишком сильно ощущал «притяжение Европы, которую надлежало России вернуть, в России укоренить. У Гете забот этого рода не было, оттого он и размышлял о всемирной литературе, а Пушкин о европейской». ⁴⁴

Для Вейдле пушкинский протеизм отнюдь не был выражением какой-то мистической способности русского духа все объять и все примирить. Напротив, этот протеизм проистекал из сознательного стремления Пушкина внести в русскую жизнь то, чего еще не было в ней, т. е. цивилизующую и живительную основу «старой, великой Европы» ⁴⁵ — христианского Запада, глубинными корнями связанного с римской и греческой древностью. Таким образом, Вейдле усматривал в пушкинском протеизме не свидетельство мессианского призвания России по отношению ко всему остальному миру, но свидетельство культуртрегерского призвания Пушкина по отношению к самой России. Согласно Вейдле, пушкинский протеизм — это не свидетельство того, что мы *можем*, но указание на то, что мы *должны*; это не подтверждение какой-то уникальной национальной *заслуги*, но напоминание о национальной *задаче* — задаче войти полноправным членом в семью европейских народов.

Такова была неожиданная «культуртрегерская» интерпретация «всемирной отзывчивости» Пушкина, данная одним из интереснейших мыслителей русской эмиграции.

⁴³ Вейдле В. В. Пушкин и Европа // А. С. Пушкин: pro et contra. Т. 2. С. 240—241.

⁴⁴ Там же. С. 241.

⁴⁵ Там же. С. 244.